

АНАСТАСИЯ РЯБЧУК,
аспирантка кафедры социологии НаУКМА

Адаптационный дискурс как средство маргинализации рабочего класса в постсоветских обществах

Abstract

The article explores the role of “adaptation discourse” in the creation and reproduction of class inequalities in post-communist societies. Within this discourse it is argued that the extent to which a particular individual has successfully “adapted” to the new socio-economic conditions, determines his or her current position in society. However, the main drawbacks of this discourse are that it views “adaptation potential” in purely individualized terms, neglecting any structural factors that allow somebody to adapt better than others; that possession of this adaptation potential in itself becomes a distinguishing factor in creation and reproduction of inequalities; and finally, that the need to adapt to the market economy is presented as normative and self-evident, therefore preventing any critical reassessment of the current situation.

Введение

Цель этой статьи — проследить роль посткоммунистического адаптационного дискурса в переосмыслении классовых неравенств при переходе к рыночной экономике. Под “адаптационным дискурсом” я понимаю дискуссию в постсоветских обществах относительно меры адаптации людей к новым социальным условиям. В частности, Е.Злобина [1] выделяет тех, кто успешно приспособился, занимая ныне высшие социальные позиции, тех, кто находится в процессе приспособления, и тех, кому адаптация далась труднее и кто оказался на низших социальных позициях. Хорошо адаптированных индивидов доминирующий дискурс изображает как “новый средний класс”, как основу развитого демократического общества [2]. В то же время “старый” рабочий класс (то есть промышленные рабочие в традиционных секторах экономики) предстают в негативном свете как не только не приспособившиеся, но и сдерживающие тем самым развитие государства и осуществление реформ [3].

Использование термина “класс” неоднозначно в данном контексте, однако мне представляется, что различие среднего и рабочего классов полезно для нашего анализа, хотя его следует уточнить. Наиболее типичным делением на классы является профессиональный (согласно неомарксистской схеме Райта, неовеберовской схеме Голдторпа, а также непрерывной шкале SAMSIS), однако Р.Кромптон [4] отмечает ряд недостатков данных подходов, при которых деление оказывается редуцирующим и не учитывает динамической природы формирования классов, игнорируя различия между классами на уровне культуры и идентичности и наполняясь все более проблематичным содержанием в условиях деиндустриализации. Поэтому вместо определения класса только на основе профессиональной принадлежности я буду использовать классовый анализ П.Бурдьё с акцентом на неравномерном доступе рабочих и средних классов к разным формам капитала (экономического, культурного и социального). Бурдьё [5; 6] рассматривает классы как динамичные и постоянно воспроизводящиеся категории; с этой точки зрения люди достигают своих классовых позиций, используя разные формы капитала, к которому имеют доступ. Позиции в экономической структуре пока остаются основой классовых различий (поэтому в постсоветских обществах имеются существенные различия между физическим и умственным трудом, между трудом в государственном и частном секторе, между собственниками и наемными работниками). Однако культурные различия играют все более важную роль в воспроизводстве прежних и создании новых неравенств.

Посткоммунистические рабочие классы состоят прежде всего из промышленных рабочих физического труда, а средние классы — из работников умственного труда в частном секторе. Однако некоторым рабочим удается достичь восходящей мобильности. Речь идет, в частности, о самозанятых сантехниках, столярах, художниках или автомеханиках, на чьи услуги есть значительный спрос у индивидуальных клиентов. Таким образом, в рамках адаптационного дискурса важной чертой рабочих являются не их профессии, а “неправильная” культура, мешающая им успешно адаптироваться к условиям рыночной экономики. Средние классы, напротив, характеризуются “правильной” культурой: предприимчивостью, внутренним локусом контроля и успешной адаптацией. Дополнительная черта, отличающая “приспособленные” средние классы от “неприспособленных” рабочих классов, — это способность продать собственные знания и навыки, то есть восприниматься в качестве *владельцев* “работающего на них” ценного капитала, а не просто наемными работниками. В этом контексте учительницу интерната или тюремного врача правильнее отнести к рабочему классу, поскольку их нанимает государство и помимо зарплаты они обычно не имеют дополнительного заработка, а вот учительница престижной школы или врач столичной больницы могут принадлежать и к среднему классу, если продают свои знания и умения за дополнительные средства (платные уроки или медицинские услуги, а то и подарки или взятки). Работники как ручного, так и умственного труда, имея в своем распоряжении определенный символический капитал, могут использовать его для улучшения материального положения (предоставлять услуги по ремонту помещений, автомобиля или бытовых приборов, давать частные уроки, оказывать парикмахерские, швейные или кулинарные услуги), легче “адаптируются”, тогда как, скажем, шахтеры или металлурги такого капитала не имеют.

Посткоммунистический адаптационный дискурс создан в ответ на экономические изменения как локального (переход от плановой к рыночной эконо-

мике), так и глобального характера (индивидуализация труда, изменение структуры промышленного и непромышленного секторов, переход от государственной защиты и гарантий труда к неолиберальной политике). В постсоветских обществах упомянутые глобальные процессы усилил “конец социализма” [7], где темп и масштабы классовой дифференциации превзошли западный опыт. Таким образом, у доминирующих классов возникает еще большая потребность оправдать свои привилегированные позиции и защитить приобретенные преимущества [8, с. 307]. Вместе с тем трудности с применением индивидуализированного дискурса в условиях структурных неравенств также более заметны, когда происходит переход к капитализму. Проанализируем некоторые последствия посткоммунистического адаптационного дискурса, чтобы дезавуировать его как осуществляющий символическое насилие [5; 6] и приводящий к созданию и воспроизводству классовых неравенств.

Глобальные изменения и посткоммунистические трансформации

Прежде чем анализировать сам посткоммунистический адаптационный дискурс, я кратко рассмотрю экономические изменения, обусловившие формирование данного дискурса: это — изменение природы занятости и уменьшение роли промышленности, что привело к процессам индивидуализации в странах позднего капитализма [9; 10], а также уменьшение численности рабочего класса и конец массового промышленного производства на Западе [11, с. 99], что означало смену “работы на всю жизнь” более динамичными формами планирования карьеры. В своем исследовании неограниченной карьеры М.Артур [12] утверждает, что рабочие начали нести большую ответственность за собственную карьеру, стали более гибкими, предприимчивыми, получили большие возможности для самореализации.

Однако некоторые социологи менее оптимистичны относительно последствий индивидуализации. В частности, Р.Кастель и З.Бауман утверждают, что несмотря на большую индивидуальную свободу, конец XX века характеризуется возрастанием непредсказуемости экономической системы, что приводит к нестабильности и стрессу для многих рабочих. Бауман [13, с. 141] спрашивает: “Как можно стремиться к работе на всю жизнь, работе как призванию, если квалификации, полученные ценой значительных усилий, каждый день превращаются из активов в пассивы?” Он считает, что наиболее приспособленными являются не те индивиды, которые инвестируют в стабильность, а те, кто оказался более гибким, кто усматривает в нестабильности нормальные условия существования. Но хотя все люди пытаются приспособиться к изменчивому обществу, лишь немногим удастся увидеть “локальный порядок в глобальном хаосе” [8]. Кастель [14] усматривает в этих изменениях неспособность национальных государств гарантировать занятость и обеспечивать перераспределение богатств, что обуславливает конкуренцию в рамках самого рабочего класса и дифференциацию между теми рабочими, которые смогли воспользоваться спросом на их труд, и теми, чьи навыки становятся ненужными обществу.

Переход от плановой к рыночной экономике означал такого рода изменения в постсоветских обществах, но гораздо более быстрыми темпами. Деиндустриализация, индивидуализация, усиление неравенства и появление новых экономических пространств и практик — все это произошло менее чем за одно десятилетие. Это привело к потере миллионов рабочих мест, в основном

в государственном промышленном секторе. Новые экономические практики (такие, как бизнес и торговля) приобрели весомость, тогда как физический труд утратил свою символическую силу [7]. Принципы индивидуализма, предприимчивости и личной адаптации приходят на место идеалов общности, труда, стабильности и государственной защиты. Д.Кидекел замечает, что хотя негативный образ труда не является уникальным для Восточной Европы, тем не менее “специфические условия, в которых социализм уступал неокapитализму, усилили дифференциацию рабочих по отношению к другим социальным группам, а также отчуждение рабочих друг от друга” [3, с. 120].

В условиях индивидуализации труда и жизни, личной ответственности за успехи и неудачи, а также акцентов на владении ценными знаниями и навыками, делающими возможными “гибкость” и приспособляемость к непредсказуемой экономике, в западных обществах получило распространение мнение, будто класс перестал играть какую бы то ни было роль в детерминации жизненных шансов. В частности, таких взглядов придерживается У.Бек, выступающий против использования классовых категорий в социальных исследованиях, поскольку класс, по его мнению, зависит от объективного уровня доходов, структуры труда и занятости, а все эти вещи уже неактуальны: “Индивидуализации все еще противостоит опыт коллективной участи (массовая безработица и деквалификация); однако ... классовые биографии, некоторым образом приписываемые, превращаются в рефлексивные биографии, зависящие от решений актора” [10, с. 188].

В свою очередь С.Лоулер утверждает, что хотя класс уже не является простым индикатором экономической позиции на рынке труда, классовая принадлежность не исчезает, а превращается в культурный признак, когда “неправильные” идентичности приписываются рабочему классу наблюдателями из среднего класса [15, с. 804]. Классовый анализ исчезает из политики и науки именно тогда, когда экономические неравенства становятся гораздо четче (в частности, в постсоветских обществах, где классовая позиция все в большей мере определяет жизненные шансы людей).

Посткоммунистический адаптационный дискурс, подобно индивидуализационным тенденциям на Западе, также апеллирует к аргументам типа “конца класса”. Е.Злобина подчеркивает, что не классовая позиция, а индивидуальные черты, такие как “адаптационный потенциал”, играют главную роль в определении положения индивида в постсоветском обществе. Но в этом случае игнорируется тот факт, что сам адаптационный потенциал является формой культурного капитала, неравномерно распределенного между разными классами, и этот “потенциал” становится источником классовых различий, свидетельством “правильной” культуры и “правильного” отношения к рыночным преобразованиям. Хотя понятие класса не упоминается, собственно то, каким образом средние классы прославляются за успешную адаптацию, а рабочие классы обвиняются в неумении/нежелании приспособляться, служит примером классового подхода.

Адаптационный дискурс как ответ на посткоммунистические трансформации

Отход от плановой экономики в Восточной Европе и бывшем СССР привел к усилению неравенств и дифференцированной классовой структуре. Новые средние классы и постсоветские элиты восприняли экономичес-

кую либерализацию, приватизацию и переход к рыночным принципам “экономической целесообразности” как необходимые и полезные для страны и для них лично. Рабочий класс, наоборот, испытал неудовлетворение и разочарование вследствие реформ. Поскольку экономические изменения требовали изменений в идеологических принципах, маргинализация рабочего класса произошла не только в экономическом поле, но и в плане социальных репрезентаций рабочих. Им все сложнее обращаться к позитивной коллективной классовой идентичности, которую они имели при социализме, а значит, и выражать классовые интересы через политический активизм [16].

Рабочие сообщества представлены как в западных, так и в постсоветских масс-медиа в виде “гетто безработных” [17, с. 411], серых депрессивных районов, а сами рабочие — как анонимная масса, как “совок” или как “пережитки коммунизма” [3]. Таким образом, речь идет не только об экономической маргинализации (maldistribution), но и о дискриминационной стереотипизации (misrecognition) рабочих; причем как экономическое, так и общественное измерение неравенства, по мнению Н.Фрейзера, являются “формами институционализированной субординации и потому — существенным нарушением справедливости” [18, с. 26]. По замечанию Стенинга, “существует тонкая грань между анализом структурных процессов, маргинализирующих рабочие сообщества, и дискурсами, усматривающими причину маргинализации в деятельности (или скорее бездеятельности) самих сообществ” [7, с. 989]. Более глубокий анализ структурных процессов выходит за рамки данной статьи. Однако адаптационный дискурс, который я анализирую, служит удачным примером дискурсивной структуры неолиберального проекта трансформаций, приводящего к маргинализации рабочего класса как “другого”.

Рабочий класс, который считали идеологическим фундаментом советских обществ, утратил свой материальный и символический статус в результате структурных изменений и углубления социальных неравенств. Это не означает, что все рабочие проиграли при переходе к капитализму или что всем было лучше при коммунизме. Многие приветствовали изменения, усматривая в них возможность самоутверждения в более конкурентной среде. Высококвалифицированные рабочие часто создавали собственные фирмы, продавая свои способности, тогда как другие становились предпринимателями или находили новую работу в частном секторе. Некоторые сектора экономики не испытали таких трудностей, как другие, и там рабочим удалось сохранить работу и стабильность. Однако такая внутренняя дифференциация не опровергает, а наоборот подтверждает маргинализацию рабочего класса как класса. Ведь тот факт, что многим рабочим все же удалось достичь более высокого социально-экономического статуса, стал еще одним примером “адаптации”. Рабочие, достигшие более высоких позиций, использовали адаптационный дискурс, чтобы объяснить и увеличение собственных привилегий, и маргинальные позиции рабочих, которым не удалось приспособиться. П.Бурдье четко характеризует данную тенденцию:

“Макс Вебер говорил, что доминирующие группы требуют “теодицеи собственных привилегий”, или, точнее, социодицеи — теоретического оправдания того факта, что они стали привилегированными в обществе. Сегодня в сердцевине этой социодицеи лежит понятие компетентности, которое принимается как теми, кто доминирует (разумеется, ведь это в их интересах), так и остальным обществом” [5, с. 43].

Представители новых средних классов говорят о своей жизни как о примере успешной адаптации к новым социальным реалиям. Именно такое объяснение их успеха обычно дают и социологи. Следовательно, успешное приспособление стало “социодицеей”, оправданием неравенств в постсоветских обществах. Вот, в частности, вводные замечания к исследованию средних классов в Украине, проведенному Е.Симончук.

“Общественный заказ востребует сегодня людей особого психологического типа. Чтобы не потерять свои социальные позиции и удержаться в среднем классе, необходимо культивировать определенные личностные качества — способность быстро адаптироваться к перманентно обновляющимся социальным и профессиональным условиям на протяжении всей жизни, высокую степень обучаемости и легкость избавления от устаревших навыков и знаний” [2, с. 23].

В таких утверждениях социальные неравенства превращаются в индивидуальные особенности, а проблема классового общества становится проблемой самих людей. Таким образом, менее успешные представители рабочего класса тоже должны были бы приспособиться, могли бы приспособиться, но почему-то не приспособиваются. Но, во-первых, “должны были бы приспособиться” означает, что адаптация не просто желательна, а является императивом, а те, кто не приспособивается, имеет неправильную/ошибочную установку. Во-вторых, “могли бы приспособиться” означает, что адаптация — это только вопрос личных усилий, и не учитывает возможных структурных препятствий к успешной адаптации. И наконец, “не приспособиваются” означает, что рабочий класс либо не имеет адаптационного потенциала, либо не использует его как следует, тогда как в действительности существует множество свидетельств об адаптационных стратегиях беднейших групп исключительно с целью выживания [18].

Критика посткоммунистического адаптационного дискурса

Мои критические замечания относительно посткоммунистического адаптационного дискурса касаются трех пунктов. Во-первых, “успех” и “неудача” подаются в сугубо индивидуальном контексте, как будто структурные факторы не имеют значения. Во-вторых, этот дискурс становится орудием в руках средних классов для создания и легитимации классовых различий. И в-третьих, этот дискурс является не нейтральным социологическим объяснением неравенств, а идеологическим, созданным для обеспечения успешного перехода к капитализму.

Индивидуализация в условиях структурных неравенств. Адаптационный дискурс заимствует западные идеи индивидуализированного общества и либерального гуманизма. Последний возник в эпоху Просвещения, и его эпистемологический фундамент — в идеях “суверенной личности” [20]. Однако французские революционные идеи свободы, равенства и братства не были воплощены в жизнь в западных капиталистических обществах, где остались классы, гендерные и расовые различия. Анализируя французский постколониальный дискурс, Барт замечает, что либеральная риторика “хорошего субъекта-гражданина”, основывающаяся на принципах равенства и осуждении расовой дискриминации, оставалась слепой к реальному расизму. “Эта позиция кажется прогрессивной, хотя в действительности обеспечивает беспрепятственное воспроизводство структур расовых неравенств”, — писал

Барт [см.: 21, с. 246]. Точно так же средние классы считают, что их позиции зачислят исключительно от их способностей и усилий, и, используя либеральный дискурс, согласно которому “класс не имеет значения”, остаются слепыми к реальным классовым неравенствам и ситуациям, где класс таки имеет значение [22, с. 78]. “Класс якобы где-то там существует, но индивидам кажется, что их лично он не затрагивает”, — пишет Д.Рей [23, с. 923]. Мобильность и доступ к разным формам капитала, существующим для “избранных”, считаются доступными и для многих других [24, с. 48].

Идеология классического либерализма предполагает не только индивидуальную ответственность, но и равные возможности, однако в постсоветских обществах произошло усиление неравенств, и позиция индивида в начале переходного периода в значительной мере определяла его или ее жизненные шансы. Старшие люди, жители сел и поселков, менее просвещенные индивиды и рабочие в промышленных регионах с высоким уровнем безработицы имели большую вероятность оказаться в низших слоях общества [25]. Как подчеркивает Д.Кидекел, переходный период создал систему “длительных неравенств” для рабочего класса в постсоветских странах: “Идентичности рабочего класса формируются в контексте уменьшения доступа к ресурсам — материальным, социальным и символическим — в некапиталистическом обществе... Рабочие воспринимают себя и воспринимаются другими как неравные по отношению к остальным категориям общества” [3, с. 116]. Сохранившие свою работу постсоветские рабочие, вместо того, чтобы “прибегнуть к более активным адаптационным стратегиям” (как пишет Е.Симончук), могут только обвинять самих себя за то, что они не адаптировались, за то, что не воспользовались возможностями, которые якобы открылись перед ними, за то, что не полагались на собственные силы, а ждали государственной защиты; “даже в условиях, когда те, кто их обвиняет — медиа, новые предприниматели, парламентарии, некоторые государственные чиновники — получили львиную долю преимуществ при новой экономической системе” [3, с. 114]. З.Бауман утверждает: “Быть индивидом *de jure* означает не иметь никого, кого можно было бы обвинить в собственных бедах, не искать причин собственных поражений нигде, кроме собственных неумений, и не искать никаких решений проблемы, кроме дальнейших попыток выйти из сложного положения ... Со взглядом, сосредоточенным на собственной успешности и, таким образом, невнимательным к социальному пространству, где коллективно продуцируются противоречия индивидуального существования, мужчины и женщины вполне естественно проявляют склонность не осознавать во всей полноте и комплексности свое положение” [9, с. 106].

Если классовые различия объективно существуют, но не признаются на субъективном уровне, они становятся “скрытыми травмами” (*hidden injuries*) [25] и подвергают “символическому насилию” тех, кто находится на второстепенных позициях, но может выразить свой низший статус только в индивидуализированных терминах как личную неудачу.

Важно подчеркнуть, что я критикую не либеральные принципы как таковые, а присвоение этих принципов господствующими классами в капиталистических обществах, где либеральные идеи становятся орудием для воспроизводства классовых неравенств. В аналогичном ракурсе С.Бол критикует индивидуализационные теории У.Бека и Э.Гидденса, их концепции “рефлексивных акторов”, и не потому, что “индивидуализм” или “рефлексивность” — это плохие черты, а потому, что такого рода слова позволяют

игнорировать тот факт, что “разные социальные группы наталкиваются на “системные противоречия” и неравномерное распределение различных ресурсов, делающих возможными рефлексии и выбор” [27, с. 4].

Создание классовых различий на основе “адаптационного потенциала”. В постсоветских обществах классы скорее не отсутствуют, а присутствуют через личные характеристики: быть представителем рабочего класса означает не столько быть бедным или работать на заводе, сколько неправильно относиться к преобразованиям и не иметь адаптационного потенциала “из-за плохих привычек, приобретенных (во времена СССР), которые включали сомнительную этику труда, отсутствие производительности, нечестность/обман и ожидание получить нечто за ничто” [3, с. 114]. Различия по культурным нормам и идентичности, таким образом, представляют как причину более низких экономических позиций и используют, чтобы, с одной стороны, выделить классовые различия, а с другой — стереть понятие “класса” [15, с. 800]. Такой дискурс способствует символическому продуцированию класса, “представляя системы интерпретации, которые определяют то, как мы понимаем классовые различия” [24 с. 46].

Р.Блекберн [28, с. 735] замечает, что класс “стал собственностью индивида”. И действительно, индивидуализация не отрицает классового деления общества, но классовые неравенства предстают как последствия индивидуальных различий, а значит, легитимируются. Когда какие-либо индивиды не могут воспользоваться имеющимися возможностями мобильности и адаптации, то их представляют как “дефективных”, лишенных чего-то (ума, образования, определенных норм и ценностей, или того же адаптационного потенциала). Таким образом, линии классового деления определяются на основе способностей и заслуг, где мобильные имеют высококостребованные знания и навыки и постоянно адаптируются, оказываются на вершине социальной иерархии. И хотя акцент на уме и способностях (в духе меритократии) является едва ли не самым сильным пунктом неолиберальной идеологии, эти принципы (да и сама идеология) не свободны от противоречий. В частности, П.Бурдье в своих исследованиях показывал, что неолибералы воспринимают ум как “дар небес”, однако мы знаем, что он “распределен неравномерно по социальным признакам и что неравенства в “уме/интеллигентности” — это социальные неравенства” [5, с. 42]. Адаптационный потенциал не просто “у кого есть, а кто-то его не имеет”, он является формой символического капитала, неравномерно распределенного среди представителей разных социальных групп в постсоветских обществах, и это дает возможность лишь немногим достичь позиций среднего класса.

Другая проблема заключается в самом определении “адаптационного потенциала”. Подобно “уму/интеллигентности” из примера Бурдье, именно господствующие классы определяют, кто успешно адаптировался, а кто — нет. Несмотря на многочисленные исследования “стратегий выживания” беднейших слоев населения, “успешной адаптацией” признаются только те ее формы, которые базируются на капиталистических нормах и ценностях [19].

Капиталистическая экономика как нормативная и требующая нашей адаптации. Последний аргумент, который я хочу привести в ответ на адаптационный дискурс, — это то, что потребность приспособливаться к новым социоэкономическим условиям представляется как самоочевидная и что отсутствует любая альтернатива рыночным преобразованиям. Социальные

неравенства уже предстают не как последствия экономической субординации и неравномерного распределения ценных ресурсов (включая сам “адаптационный потенциал”), но и как проблема культуры и идентичности. “Глобальные изменения”: деиндустриализация, безработица и государственная дерегуляция подаются как неизбежные, а значит, к ним нужно приспосабливаться, чтобы иметь возможность распоряжаться собственной жизнью, быть более независимым от государства и т.п. “Ведется настоящая игра с коннотациями и ассоциациями таких слов, как гибкость, умение, дерегуляция, чтобы указать, что неолиберальное послание является универсальным посланием освобождения” [5, с. 31].

С.Жижек [29] утверждает: если несколько десятилетий назад еще можно было дискутировать о разных возможностях развития общества, а также были попытки разных социальных групп вмешаться для защиты своих коллективных интересов, то ныне капиталистическую экономику представляют как “объективную реальность”, делающую невозможной любую критику и рассмотрение альтернативных путей развития постсоветских обществ. Кроме того, адаптационный дискурс провозглашает, что именно индивиды должны приспосабливаться к рыночной экономике, а не наоборот. Получается, что рабочие должны приспособиться к тем условиям, где их могут еще больше эксплуатировать в теневой экономике с усилением “гибкости” нестабильности, где утрачиваются скромные преимущества государственной полной занятости и социальных гарантий [3].

“Во имя этой модели, — пишет П.Бурдьё, — вводится “гибкий график занятости” — еще одно магическое слово неолиберализма, которое означает ночную работу, работу по выходным, нерегулярные часы занятости... Таким образом настоящие признаки “законов рынка” — экономического мира без всякого внешнего регулирования — становятся нормой и идеалом всех практик” [5, с. 34–35]. Бурдьё настаивает на том, что необходимо разрушить миф о такого рода исторической неизбежности и, понимая экономические потребности, не воспринимать их как данность, а оказывать им сопротивление и, где возможно, нейтрализовать их влияние [5, с. 26].

Выводы

В этой статье я намеревалась показать, что постсоветский адаптационный дискурс является орудием создания и воспроизводства как прежних, так и новых социальных неравенств. В его основе — западный дискурс об индивидуализации труда, о личной ответственности за успехи и неудачи и о “конце класса” [30]. Адаптационный дискурс искаженно подает постсоветских рабочих, утверждая, что их маргинальные социоэкономические позиции являются результатом отсутствия “адаптационного потенциала”. Проблему класса понимают как проблему превращения рабочих в “более похожих на средний класс” [15, с. 799]. Однако, по точному замечанию М.Севеджа, “если классовый анализ еще может играть какую-то роль, то эта роль состоит в постоянном подчеркивании грубых реалий социальных неравенств и игнорировании этих неравенств представителями индивидуализированной культуры среднего класса, не замечающими социальных последствий своих повседневных поступков” [11, с. 159]. Как видим, негативные социальные последствия адаптационного дискурса проявляются в маргинализации постсоветских рабочих и некритичной легитимации системы классовых неравенств в условиях перехода к рыночной экономике.

Литература

1. Злобіна О. Особистість як суб'єкт соціальних змін. — К., 2004.
2. Симончук Е.В. Средний класс: люди и статусы. — К., 2003.
3. Kideckel D.A. The Unmaking of an East-Central European Working Class // *Hann C.M. Postsocialism* / Ed. by C.M.Hann. — L.; N.Y., 2002. — P. 114–132.
4. Crompton R. Class and Stratification. — Cambridge, 1998.
5. Bourdieu P. Acts of Resistance: Against the New Myths of Our Time. — Cambridge, 1998.
6. Bourdieu P. The Forms of Capital // *Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education* / Ed. by J.Richardson. — N.Y., 1986. — P. 241–58.
7. Stenning A. Where is Post-socialist Working Class? Working-class Lives in the Spaces of (Post)socialism // *Sociology*. — 2005. — Vol. 39 (5). — P. 983–99.
8. Kincheloe J.L., McLaren P. Rethinking Critical Theory and Qualitative Research // Denzin N., Lincoln Y. *Handbook of Qualitative Research*. — L., 2005. — P. 303–334.
9. Bauman Z. The Individualized Society. — Cambridge, 2001.
10. Beck U. Risk Society: Towards a New Modernity. — L., 1992.
11. Savage M. Class Analysis and Social Transformations. — Buckingham (Phil.), 2000.
12. Arthur M.B. The Boundaryless Career: a New Perspective for Organizational Inquiry // *Journal of Organizational Behaviour*. — 1994. — 5. — P.295–306.
13. Bauman Z. Postmodernity and Its Discontents. — Cambridge, 1997.
14. Castel R. L'Insécurité sociale: Qu'est-ce qu'être protégé? — S.l., 2003.
15. Lawler S. Introduction: Class, Culture and Identity // *Sociology*. — 2005. — Vol. 39 (5). — P. 797–806.
16. Ost D. The Defeat of Solidarity: Anger and Politics in Postcommunist Europe. — S.l., 2005.
17. Reay D., Lucey H. "I don't Really Like it Here but I don't Want to be Anywhere Else": Children and Inner City Council Estates // *Antipode*. — 2000. — 32. — P. 410–428.
18. Frazer N. Rethinking Recognition // *New Left Review*. — 2000. — 3. — P. 107–120.
19. Stenning A. Re-placing Work: Economic Transformations and the Shape of a Community in Post-socialist Poland // *Work, Employment and Society*. — 2005. — Vol.19 (2) — P. 235–259.
20. Foucault M. Discipline and Punish. — N.Y., 1979.
21. Farough S.D. The Social Geographies of White Masculinities // *Critical Sociology*. — 2004. — Vol. 30 (2). — P. 241–264.
22. Fine M., Weis L. Compositional Studies, in Two Parts. Critical Theorizing and Analysis on Social (in)Justice // *Denzin N., Lincoln Y. Handbook of Qualitative Research*. — L., 2005. — P. 65–82.
23. Reay D. Beyond Consciousness? The Psychic Landscape of Social Class // *Sociology*. — 2005. — Vol. 39 (5). — P. 911–24.
24. Skeggs B. Class, Self, Culture. — L., 2004.
25. Lane D. Trajectories of Transformation: Theories, Legacies and Outcomes // *The Legacy of State Socialism and the Future of Transformation* / Ed. by D.Lane. — Lanham; Boulder; N.Y.; Oxford, 2002. — P. 3–31.
26. Senett R., Cobb J. The Hidden Injuries of Class. — Cambridge, 1977.
27. Ball S.J. Class Strategies and the Education Market: the Middle Classes and Social Advantage. — L.; N.Y., 2003.
28. Blackburn R.M. A New System of Classes: but What are They and do We Need Them? // *Work, Employment & Society*. — 1998. — Vol. 12 (4). — P. 735–41.
29. Zizek S. The Ticklish Subject: the Absent Centre of Political Ontology. — L.; N.Y., 1999.
30. Pakulski J., Waters M. The Death of Class. — L., 1996.